

ИДЕОЛОГИЯ, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА

Вышла в свет 100-я книга в серии «Пламенные революционеры». Вот уже полтора десятилетия Политиздат выпускает эту книжную серию, посвященную жизни и деятельности замечательных борцов за народное дело (см. «ЛГ», № 17, 1973; № 31, 1975; № 14, 1978). Четыре работы, пополнявшие серию в последнее время, — о Радищеве, Чернышевском, Плеханове и Ольминском, анализируются в публикуемой сегодня статье.

КАК ВНЯТНА содержательность литературной формы, когда она, эта форма, порождаясь самим материалом, обретает свое лицо, свой взгляд на предмет! Вот четыре книги — уже из доброй сотни подобных, вышедших на сей день в политиздатской серии «Пламенные революционеры». Об А. Радищеве, Н. Чернышевском, Г. Плеханове, М. Ольминском. Признаюсь, открывал их не без скепсиса, собственного, что называется, присяжному (по роду занятий) историку литературы. Что это: очередная беллетризованная биография? Свод фактологического и мемуарного материала? Популярное исследование? Но тогда зачем они? Между тем знакомство с работами увлекло и даже больше — захватывало. Все отчетливее прослеживался их своеобразный тематический поворот, позволяющий, не насилюя факты, выходить за их пределы, обнажая общезначимость конкретных человеческих судеб.

Художественно-документальные монографии о подвиге — так определил бы я жанр книг этой серии. Ибо подвиг — конечно же, личный, индивидуальный, потому что безликого подвига не бывает, — тут и главная проблема, и угол зрения на «персонаж», будь то марксист Плеханов, средневековый утопист Кампанелла или декабрист П. Пестель. Это, ду-

его подвига. Кстати, эта же проблема объединяет в неразрывное целое семейный, интимно-личный и социальный аспекты и в самом романе. Она вообще в духе самой эпохи, страстно ищущей способов «восстановления погибшего человека», говоря словами другого крупнейшего ее выразителя — Достоевского.

Достоевского я тут вспомнил не случайно. Дело в том, что парадоксальная, отбрасывающая прочь нравственный критерий логика и психология таких его персонажей, как рассказчик «Записок из подполья» или Раскольников (а также «романы» Раскольникова с Соней Мармеладовой, «парадоксалиста» — с Лизой), в свою очередь, творчески учтены Савченко при создании уже другого лица — Всеволода Костомарова и его связи с Настей, девушкой из народа. На этой основе Савченко дал смелое, тонкое и убеждающее «прочтение» личности предателя, фальсификатора и провокатора. Амoralист Костомаров готов, обманывая или обманываясь, сослаться на якобы неискренность человеческого самопожертвования, то есть... чуть ли не на идею самого Чернышевского! Рассказчик, надо сказать, отлично видит опасность этого коварного софизма. И дает ему отповедь в ходе небольшого, но знаменательного диалога Чернышевского с Добролюбовым, а также последними главками повести,

Радищевский подвиг у Шеметова тем не менее не иконописен. Думаю, автор многократно прав, когда различает здесь своего рода тактику и стратегию, обстоятельно анализируя, в частности (с помощью внутренних монологов героя, исполненных рго и contra, нравственных антиномий и диалектики), идею компромисса, в конечном счете принимаемую революционером не во имя самосохранения, но ради свершенного дела. Не опуская известных покаянных объяснений Радищева на имя императрицы, Шеметов не скрывает, как нам показалось, что тема им не исчерпана. Возможно, отсюда драматизм мысленного обращения Радищева накануне приговора к своим детям: «Милые, несчастные дети! Неужто отшатнутся? От кого? От твоего имени? Быть того не может. Не отшатнутся, конечно. Но поймут ли, когда вырастут?».

Выше я прибегнул к понятию «монография». По отношению к книге о Радищеве оно, пожалуй, наиболее уместно. Любовь автора к герою своему побудила его продолжить рассказ за грань главного свершения Радищева: была написана вторая часть («Ворота»), где жизнь творца «Путешествия...» прослежена до трагической смерти. Написана не менее скрупулезно, с тем же проникновением в быт и душу персонажа. И, однако же, это скорей другая повесть, чем продолжение «Прорыва», с которым строгого проблемного, а следовательно, и жанрового, единства у нее нет. Тут Шеметов вольно или невольно сбивается на жизнеописание, а не историю подвига.

КНИГА Валерия Осипова «Подснежник» есть, как отмечено в ее аннотации, «первая в нашей литературе попытка художественного осмысления личности Г. В. Плеханова...». Начало всегда трудно, но в последнем случае — втройне. Как ни уникален и ни огромен путь, отделяющий Плеханова — «тамбовского помещика» и юнкера-артиллерииста от Плеханова — оратора международного социалистического конгресса, гостя Ф. Энгельса, его не уложить в череду событий, революционных акций, пусть это будет даже знаменитая первая русская политическая манифестация на площади Казанского собора в Петербурге или относительно малоизвестная пропаганда Плеханова среди донских казаков, казалось бы, столь выигрышная при художественном портретировании. Предстоит ведь «живописать» — и Осипов это постоянно помнит! — прежде всего теоретика, «учителя» (Горький) русского рабочего движения, не ставшего, однако, вследствие ряда объективных и субъективных причин его вождем. Тут и быт не помощник, и его в книге не больше самого необходимого. Основой повести стал подвиг мысли и особая поэзия — поэзия мышления, познания в его непростом, но неуклонном движении от утопии к строгой науке.

«Полное вражды и любви мышление» (Белинский) сродни собственно художественному акту участием в нем всех духовных способностей человека, захватывающему драматизму, самому воздействию на читателя. Такова в передаче Осипова и мысль Плеханова — автора «Наших разногласий», «Социализма и политической борьбы», теоретика монистического взгляда на историю, марксиста-философа, искусствоведа и публициста. Рассказчик стремится запечатлеть тут самый диалектический «механизм» накопления мысли, распада ее на противоположные тезы, наконец, качественного ее скачка — словом, схватить ее процесс, а не только результаты. Нередко это замечательно, ему удается — например, в рассказе о воздействии на Плеханова «Манифеста Коммунистической партии» в ходе его перевода на русский язык или о блестящей плехановской импровизации на тему о случайном и закономерном в действиях исторического лица и т. п.

Впрочем, интеллектуальное начало в повести Осипова, определив собой отбор и компоновку сюжетно-событийных моментов (воронежский съезд «Земли и воли», первые рабочие кружки Петербурга, отношения с соратниками по группе «Освобождение труда» и др.), не обратило их в простой фон. Ярко, запоминающе выписаны, скажем, образы русских рабочих Степана Халтурина и его товарищей, причем не только как достойных оппонентов Плеханова-народника, но и как «образователей» Плеханова-марксиста.

ВРЯДУ с Чернышевским, Радищевым, Плехановым относительно скромно выглядит герой Франца Таурина Михаил Ольминский. Рассказ о нем назван опять-таки очень точно — «Каменщик революции». В деле великого переустройства жизни Ольминский действительно был не зодчим, но одним из строителей: не прокладывая новых путей, он, однако, мужественно, беззаветно ими следовал. И все же подвиг этого человека не заслонен более громкими — и не только потому, что без каменщиков бессильны и архитекторы. Есть свое величие, своя красота в честности и верности мысли, которыми был вполне наделен этот рядовой ленинской гвардии. А ведь они стоили ему жертв немалых — и пятилетнего одиночного заключения, и ссылки, и — что не менее страшно — семейной драмы, разрыва с женой, не выдержавшей беззаветного служения строгой революционной идее.

Свой рассказ Таурин ведет нарочито спокойно, что называется, без затей. Но сдержанность эта едва ли не подчеркивает непоказное обаяние простого и сильного человека.

Итак, четыре книги из огромной серии... С каждой можно было бы в чем-то поспорить. Озадачил, например, у Савченко Добролюбов, объясняющий своему соратнику мотивы, по которым он задержался за границей: мемуаристы (А. Я. Панаева, например) толкуют это не так. Невнятно, не разъяснено в должной мере вступление Плеханова-студента на путь революционной пропаганды у Осипова. Грубоваты мелодраматизированные террористы — враги Октября у Таурина. Но все это не принципиально. Суть же в том, что найдена новая благодарная тема и вместе с тем жанровая форма (обусловленная материалом, а не навязанная ему) чрезвычайно богатого, емкого и действенного воспитательного потенциала. Организаторы серии сумели собрать вокруг нее обширный круг писательских дарований разных поколений. Это люди со вкусом к исследованию и навыками его, нередко не уступающими профессиональным. Серия, по сути своей, адресована массовой аудитории. Меня, сознаюсь, особо радует ее собственная литературная часть, рассказы о революционерах-писателях, еще и потому, что она лишней раз убеждает в далеком не бесплодном результате исследований литературоведа-специалиста. Ведь ни один из рассмотренных здесь авторов не прошел, уверен, мимо данных, добытых и его собратьями по общему делу.

Валентин НЕДЗВЕЦКИЙ

МНОГОЛИКОСТЬ

ПОДВИГА

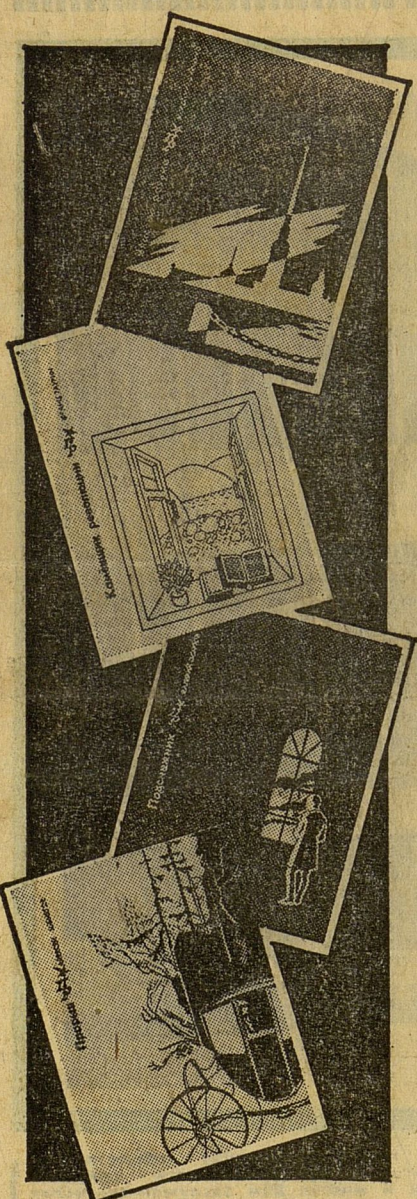
маю, подчеркнута и заглавиями книг, где поставлено не имя самого героя (оно в подзаголовке), но сжатая формула-метафора деяния, им свершенного. У меня быстро отпали опасения, не станут ли «революционеры» дублировать известные издания «ЖЗЛ»: то и другое отлично дополняют друг друга.

Впрочем, доброе соперничество здесь можно лишь приветствовать. В этой связи хочу сразу же воздать должное замечательной широкой «географии» новой серии. Она вовсе не ограничена именами всем известными или принадлежащими лишь отечественной истории. Читатель уже получил, например, книгу Владимира Савченко о народолюбце Николае Клеточникове (это на его временное забвение сетовал в своем «Долгом прощании» Юрий Трифонов), повести о Сухобаторе («За Полярной звездой» А. Тудева), Марате («Сердце моего Марата» А. Левандовского), о Гарибальди («Опоясан мечом» Н. Атарова, М. Дальцевой), П. Штернберге («Земля и звезды» Ю. Чернова), Сунь Ят-сене («Отец республики» Г. Матвеевой), Петёфи («Витязь чести» Е. Парнова), Грамши («Бойцов не оплавляют» Р. Хигеревича) и о целом ряде других рыцарей революции.

Воссоздать подвиг нередко двух-трех- (и более) вековой давности не просто нелегко — сверхсложно. Надо погрузиться в эпоху, сделать историю, в ряде случаев и страноведом. Переработать огромный материал. Во все не удивительны, например, те шесть лет, что понадобились Алексею Шеметову для создания его «Прорыва». Подготовительный труд тут вообще огромен. Но и он еще не залог успеха. Предстоит «войти в образ» своего героя, проникнуться теми сокровенными нравственными (и, добавлю, эстетическими, потому что каждый революционер непременно и жизнестроитель, **практический художник**) его побуждениями, которые-то и обеспечивают высокогражданскому деянию как смысловое, так и своего рода сюжетное единство.

МНЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ, что на высоте этой задачи оказались авторы всех четырех книг. Решение она, понятно, по-разному, как несложно — индивидуально и социально — между собой сами герои и ракурсы их изображения. Очень точно назвал свою повесть Владимир Савченко — «Властью разума». Да, разум, развитое сознание, высокий рационализм — не прекраснотушный, но искушенный знанием реального быта, редкой социальной проницательностью «мужицкого демократа», наконец, не чуждый сомнений, — этот разум и вера в его преобразующую человека мощь никогда не покидали автора «Что делать?», едва ли не единственного оптимистического русского романа минувшего века. Савченко, впрочем, менее всего склонен эту сторону своего «персонажа» декларировать, прибегая к соответствующим выдержкам из философских или критических работ Чернышевского или их переказу. В книге вообще на редкость мало цитат, вроде бы неизбежных тут. Решение найдено, думаю, мастерское: четкий облик Чернышевского в его просветленной духовности и одухотворенной рационалистичности формируется в глазах читателя уже самой формой повести, композиционно и сюжетно подчеркнута уравновешенной, лаконичной и строгой. В повествовании Савченко, приемах его организации заметна едва ли не сознательная ориентация на творческие принципы и даже стиль самого «портретируемого» — разумеется, в духе их, а не буквы. Способ этот не нов, давно уже назван специалистами художественным историзмом, а между тем не каждому по плечу.

Намеренная сдержанность и строгость рассказа у Савченко не только не исключают, но именно служат психологизму, часто незаурядному. Внешние события даны скупко (автор полагается здесь и на известную осведомленность читателя, и на его сотворчество), однако отобраны так, что позволяло увидеть личность Чернышевского изнутри. Своего рода «святым узором» стало учение о «разумном эгоизме» — действительно центральное для уразающего нравственно-этической природы автора «Что делать?» и



где Чернышевский и Костомаров подводят свои столь несхожие итоги. Нет, истоки поведения и подвига Чернышевского не в аскетической жертве, но и не в индивидуалистической «выгоде», к которой демагогически призывает Костомаров; их сущность — долг, осознанный в качестве личной нравственной потребности.

РЯДОМ с эмоционально скуповатым рассказом Савченко бытопись повести Алексея Шеметова об Александре Радищеве настолько детально и обильна, что может показаться излишеством. Но это впечатление поверхностное. Хотя и «массовые сцены» здесь, думаю, удовлетворяют знатока своей этнографической, культурно-исторической точностью (удачны, например, фигуры Ермака Кострова, О. Козодавлева, П. Челищева, штрихами намеченные портреты Г. Державина, Д. Фонвизина, И. Крылова), Шеметов сосредоточен все же на домашнем быте и обстановке в доме автора «Путешествия...» в преддверии неминуемого царичины гнева и ареста. И тут, надо сказать, воистину каждое ружье стреляет, будь то спор юных сыновей Радищева о Цезаре, Бруте и Кассии, слезы его маленькой дочки за обиды ее куклы Арапки или устройство кабинета, где по ночам создается крамольная книга. Шеметов сумел опредметить, воплотить в быте само напряжение, нарастающий драматизм свершаемого духовного подвига, подчеркнуть таким способом его главные вехи, ярко выявить саму кульминацию в Петропавловской крепости, где Радищев ведет свое непосильное единоборство с Шешковским, хозяином Тайной экспедиции, мастером сыска. Исподволь, без нажима, как бы сам собой складывается у читателя — из повседневных, служебных или интимных забот и поступков Радищева, патриота-чиновника и первого в России «друга народа» — его выпуклый образ в таком характерном для поэта, художника сочетании внешней хрупкости и силы мысли, зрящей через целое столетие. Радищев, в одиночку бросивший вызов всецельной императрице, был все же нравственно не одинок: вокруг группируются сослуживцы Мейстер, Царевский, наборщики «Путешествия...», даже слуги. Черта, верная в показе человека, не изменяющего и перед угрозой четвертования (ведь это он — бунтовщик похуже Пугачева!) идеям своей молодости.